

в 1958–1959 гг. // МХЭ. Вып. 6. М., 1963. С. 267; Левина Л.М. Керамика нижней и средней Сырдарьи в первом тысячелетии н.э. М., 1971. С. 241.

⁸³ Левина Л.М. Джетыясарская культура. Ч. 2–3. М., 1994. С. 72. Рис. 154, NN 33–35; Толстов С.П. Древний Хорезм. Рис. 72.

⁸⁴ Вилообразный знак-тамга на реверсе монет этого правителя позволяет предполагать, что он был выходцем из среды степняков. Она сопоставляется с родовым знаком каракалпакского рода мюйтен (Ягодин В.Н. Об этническом определении кердерской культуры и ее роли в этногенезе каракалпаков // ВКФ. 1973. N 3. С. 73), ногайцев рода канглы (Вайберг Б.И. Монеты древнего Хорезма. С. 41) и т.д.

⁸⁵ См. подробнее Неразик Е.Е. Керамика Хорезма афригидского периода // ТХЭ. Т. II. М., 1959. С. 255–259.

⁸⁶ Неразик Е.Е. Раскопки Якке-Парсана. С. 23–28. Сходство подобных жилых ячеек в застройке Якке-Парсана в Хорезме и Гардани Хисора в горном Согде привели некоторых исследователей к заключению об их типологическом сходстве в качестве укрепленных поселений с цитаделью. Однако установлено, что указанные ячейки служили жилищами и горожан, и сельских жителей, и обитателей усадеб. Так, все элементы планировки Якке-Парсана можно увидеть в старой байской усадьбе-хаули Матраимбая в Хазараспском районе (центрическая планировка покоев хозяина усадьбы похожа на расположение комнат донжона, имеются трехкомнатные секции для отдельных семей). Но из-за этого такую усадьбу вряд ли следует называть поселением. См. Сазонова М.В. К этнографии узбеков Южного Хорезма // ТХЭ. Т. I. М., 1952. С. 286. Рис. 18.

⁸⁷ Ермакович Л.Б. Жилище позднесредневекового Отрара как источник для реконструкции этнокультурных процессов на юге Казахстана // Средневековые города Южного Казахстана. Алма-Ата, 1986. С. 100–102.

⁸⁸ Жилина А.Н. Традиционные поселения и жилища узбеков Южного Казахстана // Жилище народов Средней Азии и Казахстана. М., 1982. С. 181–182.

⁸⁹ См. Неразик Е.Е. Сельское жилище в Хорезме... С. 181–182.

⁹⁰ Неразик Е.Е. Каменная статуэтка из Якке-Парсана // Прошлое Средней Азии. Душанбе, 1987.

⁹¹ Неразик Е.Е. Керамика Хорезма... С. 235–254.

⁹² См. Неразик Е.Е. Сельские поселения... С. 90–91.

⁹³ Ягодин В.Н., Ходжайов Т.К. Указ. раб. С. 129.

⁹⁴ Даркевич В.П. Художественный металл Востока. М., 1976. С. 103–114. Табл. 25–26. Рис. 14.

⁹⁵ Livshits V.A. Op. cit. P. 444–446.

⁹⁶ Неразик Е.Е. Сельские поселения... С. 88–89; *её же*. Сельское жилище в Хорезме... С. 193–199 и др.

Early middle ages Khorezm

This article is a brief generalization of the archaeological researches on the territory of Khorezm. Some new materials, dated from IV–V A.D., are published. They are dealing with such archaeological discoveries, as a large palace of Khorezm monarchs, and a Temple of Fire at the Yakke-Parsan oasis. The author touches also the problems of the transition of cultural traditions and of the crisis of the Khorezmian society.

E.E. Nerazick

© 1997 г., ЭО, № 1

В.Д. Берестов

ШЕФ

(глава из книги воспоминаний)

Как только я увидел Сергея Павловича Толстова на кафедре Ленинской аудитории Московского университета, я сразу же испытал непреодолимое желание работать в его экспедиции и стать его учеником. В сущности я, сам того не сознавая, стал им с первой же его лекции. Все, о чем он читал, было как бы заново проверено

и обогащено его талантом. Читал он спокойно, последовательно, методично, словно это было не сплошное новаторство, а нечто общеизвестное, утвержденное во всех инстанциях. Даже свою увлеченность новыми идеями, свой неукротимый темперамент Толстов искусно скрывал. Привычные в те времена связки «как известно» (после чего шли мысли, высказанные впервые), «мы имеем» (хотя сказанное часто знал и «имел» только он один), типичные для того времени «с одной стороны» и «с другой стороны» как бы убаюкивали рвение искателей крамолы. Да и сами студенты, прилежно записывая лекции, часто не подозревали, что в тексте каждой лекции есть то, чего не найдешь ни в каких пособиях и ученых трудах. Лекции были столь последовательными, порой даже суховатыми, что наши курсовые остроумцы, коллекционеры профессорских «перлов», несколько приуныли. То ли дело профессор Москалев, читавший курс истории ВКП(б): «Струве окончательно распоясался, сбосил с себя марксистские одежды и предстал во всем своем обывательском нагише». Или удивительный Арциховский: «Судить по помпейским фрескам о древнеримской живописи – это все равно, что судить по росписи рязанской пивной о Третьяковской галерее». От Сергея Павловича ничего такого не дожدهмся. «Нужен целенаправленный поиск, – посоветовал я, – попробуйте поймать Толстова на его любимых связках». И вскоре забрезжил первый луч надежды: «В Меланезии мы имеем свинью». И наконец праздник: «Австралийцы питались, с одной стороны, мясом диких животных, а с другой – корнями дикорастущих растений». После такой добычи остроумцы успокоились, прекратили поиски перлов и принялись записывать лекции, интересные сами по себе. Затаив дыхание, слушали мы, например, лекцию о языках флективного, агглютинирующего и аналитического строя. Оказалось, аналитические языки – английский, французский, болгарский – образовывались в местах смешения народов, служа посредниками между ними. Вот и отлетели в сторону, как помехи, изменчивые, трудные для запоминания окончания имен существительных при склонении, глаголов – при спряжении. Зато усилилась управляющая роль предлогов. Это и другие соображения того же рода уходили прямо в подсознание, казалось, мы чуть ли не родились с этими знаниями. Фразу о злосчастных австралийцах, питавшихся с двух концов, сообщили как-то Сергею Павловичу, «Берестов придумал!» – рассмеялся он.

Я просто полюбил этого необыкновенного человека и с жадностью ловил все отзывы и слухи о нем. Не так давно он был деканом Истфака. Профессор Граков с восхищением вспоминал: «Сокрушительный был декан! Разбил два стекла на столе у ректора!» Самос потрясающее было то, что этот человек теоретически, – изучая народы Поволжья, – вычислил как бы притяжение влиявшей на них древней и великой цивилизации. И лишь пройдя на лодках по Амударье, а на верблюдах по пустыням Каракурум и Кызылкум, обнаружил ее и изучил почти без раскопок, которые были ему тогда не по средствам, исследовал множество живописных и грозных развалин крепостей всех эпох, глинобитных средневековых замков, следы садов, валы огромных каналов античной эпохи (они подражали высохшим рекам). Прямо на поверхности валялись сосуды, например кувшины с ручками в виде льва, готового опустошить весь кувшин. А сколько было покрытых так называемым «пустынным загаром» терракотовых статуэток, сколько бус и прочих украшений! Керамика всех эпох, т.е. битая посуда, щедро рассыпанная по крепостям, по местам где были когда-то дома, усадьбы, храмы, стоянки первобытных людей. Черепки заменили путешественникам календарь, каждый памятник получил свою дату. Однажды брат Толстова, художник Николай Павлович, вернулся к экспедиционной палатке пешком и без штанов. Штаны восседали сами по себе на ишаке. Художник в поисках природы нашел два новых исторических памятника. Левая штанина была набита керамикой с одного из них, правая – с другого.

Лекций в Ленинской аудитории мне показалось мало. В актовом зале истфака я вместе со старшекурсниками слушал спецкурс по древней истории Средней Азии, ходил на все выступления и доклады Толстова, о каких только мог узнать. Везде –

самостоятельная смелая мысль, по обычаю того времени подкрепленная цитатами из классиков марксизма и господствовавшего тогда «нового учения о языке» Н.Я. Марра. О роли этих цитат я узнал в 1950 г., когда Сталин обрушился на Марра и сам был объявлен величайшим языковедом всех времен и народов. Что же будет с Сергеем Павловичем? Он прямо с раскопок послал отклик на статью Сталина. Отклик появился в «Правде» с указанием места написания – «урочище Топрак-кала». А после нашего возвращения в том же актовом зале истфака Толстов сделал доклад о первобытной лингвистической непрерывности. Нечто подобное мы слышали и на его лекциях. Сергей Павлович вспомнил о Миклухо-Маклае, как тот, посещая одну папуасскую деревню за другой на Новой Гвинее, изучал тамошние диалекты. И оказалось, что жители одной деревни прекрасно понимают своих соседей справа и слева, но сами эти соседи понимают друг друга уже несколько хуже. И так по всему берегу Маклая. А для жителей отдаленных деревень, расположенных в разных концах берега, их языки были просто чужими. Вот почему в Австралии обнаружено множество не только языков, но даже языковых групп. А друг друга все ближайшие соседи прекрасно понимают. Это и есть первобытная лингвистическая непрерывность.

Я очень давно не перечитывал этого доклада, пишу о нем по давним студенческим впечатлениям. И ко мне возвращается ощущение величавой простоты, какое и испытал тогда от мысли Толстова. Он сравнивал языки первобытных народов, дожившие до нашей эпохи на диаметрально противоположных концах суши в Восточном полушарии, от мыса Дежнева на северо-востоке до мыса Доброй Надежды на юго-западе. Между ними простиралась в эпоху родового строя эта самая непрерывность. Границ не было, кроме установленных экзогамией двух брачных классов: женись только на чужих, а на своих не смей. И на концах эйкумены образовывались как бы два языковых пояса. На одном подлежащее стояло впереди сказуемого, приставка значила больше, чем суффикс, определение ставилось перед определяемым. На другом все наоборот: сказуемое – перед подлежащим, определение – за определяемым, а в составе слова господствуют суффиксы, в том числе несвойственные, скажем, русскому языку притяжательные суффиксы. А в промежутке между полюсами – смешение форм.

Толстов говорил, а многие в зале ждали, когда же он назовет имя новоявленного «корифея языкознания» и покается хотя бы в одном своем «марристском» заблуждении. Заветного имени, наконец, дождались, а покаения не было. Лингвистическая непрерывность родового строя стала разрываться и рушиться с возникновением воинственного племенного строя. Племя эндогамно: женись только на своих, а чужих презирай, покоряй, делай рабами. И в этих обстоятельствах («как указал товарищ Сталин») побеждал один из языков. Хорошо, что говоря о племенах, Толстов не назвал Сталина «вождем», как мы все тогда его называли, это бы сразу сблизило «творца нового общества» с воинственным племенным властителем. Впрочем, Толстов, как и многие, тоже поддавался очарованию полновластного «вождя трудящихся всего мира», которого все чаще теперь называли «вождем народов», что уже приближалось к титулу «царя царей» на монетах, найденных в песках. Толстов даже ощущал эту переключку отдаленных эпох, радуясь, что пилоны на строящемся по указанию «вождя народов» высотном здании МИДа почти не отличаются от тех, что украшали и членили его любимую Топрак-калу, дворец хорезмшахов в III в. н.э.

Доклад окончен. А вдруг сейчас возьмет слово кто-нибудь из врагов Толстова и начнет уличать его в марризме и прочих грехах? Но председательствовал Артемий Владимирович Арциховский, друг Сергея Павловича. Он и определил тон и стиль всех прочих выступлений. «Я никогда не признавал Марра», – заявил Арциховский. – «В моих работах нет ни одной ссылки на него. Я никогда не упоминал даже имени Марра. Поэтому вы должны поверить тому, что я сейчас скажу. Сергей Павлович порой цитировал Марра на каждом шагу. Но Марр настолько противоречив, что у него можно найти цитаты на все случаи жизни. Толстов создавал Марра по своему образу и подобию. И вот теперь мы видим мысли Сергея Павловича без всяких

"подпорок". Забудем о Марре, которым тут и не пахнет и никогда не пахло, и поговорим о гипотезе Толстова». В тот же день в Институте истории материальной культуры, уже потерявшем имя Марра, на заседании под председательством Б.А. Рыбакова свои научные взгляды, освобожденные от цитат из Марра и только выигравшие от этого, изложил П.В. Третьяков.

Еще одно впечатление от величавой простоты мысли Толстова у меня осталось после его доклада на Международном конгрессе историков. К тому времени он уже перенес инсульт, и я тревожился за него. Но вот его простая и здравая мысль. Все народы внесли, если вдуматься, соизмеримый вклад в историю и культуру. Но у одних, живших в более благоприятных условиях, их гений выразился в создании основ цивилизации, в исторических событиях и личностях. А у других историческая энергия ушла на создание культуры, комфорта, человеческих условий жизни в царствах почти вечного холода или вечного зноя. Греки и бушмены, чукчи и англичане заслуживают одинакового уважения и восхищения тем, что они достигли когда-то каждый в своих условиях. Все, о чем говорил Толстов, так или иначе присутствовало в его университетских лекциях. Я нашел то, чего искали моя молодость и моя натура.

Я твердо решил поехать к Толстову на раскопки. Все тогда привлекало меня к ним. Во время войны в эвакуации я успел полюбить Среднюю Азию. Я оставил там и родных, и друзей, а среди них самого лучшего — Эдуарда Бабаева. И когда он подошел на Ташкентском вокзале к вагону, возьмем меня в пески, как же я был счастлив прямо с подножки вагона выкрикнуть: «Эдик, я вернулся!». Поговорил со старым другом минут двадцать и вернулся в вагон к новым друзьям. Еще на факультете меня тронуло какое-то особенное братство, которое связывало при всем различии курсов и кафедр студентов, называвших себя хорезмийцами. В Новгороде, где я успел проработать два летних сезона, я участвовал в сочинении экспедиционных песен. Хорезмийские песни пока сочинялись без меня. В одной из них, придуманной на мотив песенки из передачи «Три мушкетера» — «Трус родила наша планета...», развалины Топрак-калы в пустыне воспевались так, как ни одна нынешняя реклама не воспевает никакие Канары. Возникало непреодолимое желание немедленно отправиться в эти благословенные края:

В знойной пустыне —
Чудные дыни,
Жизнь хороша и мила.
Радость пустыни,
Гордость пустыни —
Крепость Топрак-кала!

А сейчас в вагоне мы лихо распевали песню, только что сочиненную Рапопортом. Наш композитор Рюрик Садоков, такой же студент, как и мы, написал приятную мелодию, несложный вальс:

На что нам курорты
И дачек комфорта,
Зачем нам читален уют,
Когда в мире лето,
И песня не спета,
Разведкой не пройден маршрут.

Какие курорты, какие «дачек комфорта», какой покой и уют могли на четвертом послевоенном году так опостылеть, например, мне, обитателю студгородка на Стромынке, попавшему туда из подмосковного детдома! Настоящий душевный уют и покой я скоро найду в брезентовой палатке у подножья Топрак-калы. Но если вдуматься, мне предстояло провести два летних сезона действительно в покоях царского дворца, между Залом царей и Залом побед, в непосредственной близости к Залу танцующих масок и Залу темнокожих гвардейцев. Что рядом с этим какие-то курорты

и дачки! А вот молодежи более благополучных 60-х и 70-х годов при всей мизерности тогдашних жизненных благ уже было что отрицать: были курорты и прочие уютные места, которые они радостно отвергали в своих туристских или альпинистских песнях. В сущности, мы сочиняли и разучивали их песню, она как бы пришла к нам из будущих десятилетий. «Я ваш ископаемый предок», – скажу я творцам авторских песен времен «перестройки» на их слете под Киевом, куда нас с Борисом Чичибабиным пригласят для оценки качества песенных текстов, созданных молодыми бардами.

Как-то в 60-х годах туристы пригласили нескольких поэтов, в том числе и меня, к летнему подмосковному костру почитать стихи и послушать их песни, что и было сделано. Читали и пели всю ночь, проснувшись поздно, бросили в костер еловый лапник – подстилку, на которой мы спали, поели каши и продолжали услаждаться песнями, проклинающими домашний уют, а заодно и шум городов. И вдруг, казалось бы, неиссякаемый репертуар наших юных хозяев все-таки стал иссякать. Стали уже петь какие-то обрывки. И тут один из туристов хлопнул себя по лбу: «Братцы, про Топрак забыли!» Как я пожалел, что рядом не было Рюрика Садокова, сочинившего в 1949 г. прямо на Топрак-кале мелодию, о которой он неумоимо напоминал нам с Рапопортом, пока мы не нашли сюжет и слова. Это был популярный у нас в экспедиции фокстрот «Девушка с папиросой», посвященный в сущности только двум студенткам, курившим вместе с нами, – Ольге Вишневецкой и Софье Трудновской. Певцы от имени юношей обличали их:

Стало вдруг манерой наших девчат,
Забираясь на Топрак,
Пить, увы, не воду, громко кричать
И курить при этом табак.
Я задам тебе лишь один вопрос,
На тебя гляжу с тоской:
«Почему так много жжешь папирос
И зачем ты стала такой?»

«Ребята, а что такое Топрак?» – спросил я у певцов. Они ответили, что не знают, и продолжали петь от имени законно раздраженных такими недружескими упреками девушек:

Вот это мило!
А я б просила
Со мной оставить этот тон!
Ты мне не мама!
Такого хама
Я прогоню тотчас же вон!

Пишу и думаю, какой же мы были тогда вольницей. Никакая инстанция не разрешила бы к исполнению столь «чуждую нам» песню, включая ее джазовую музыку:

А теперь тебе задам я вопрос,
Он давно меня томит:
«Почему, как старый пудель, оброс
И зачем ты не умыт?»

Честно говоря, дальше девушки сгущают краски:

Вот уж целый месяц как ты нетрезв.
Хоть для смеха воздержись.
Для того ль ты ехал в Древний Хорезм,
Чтоб вести такую жизнь?!

Дальше пойдет цитата из любимого шофера нашего Шефа, из Коли Горина,

с рифмой на его фамилию. Что споют туристы, если они не только про Горина, но и про Топрак-калу не знают? Юноша отвечает на поношение:

Другой бы спорил,
А я, как Горин,
Судьбе покорен.
Я молчу.

Горинское «фирменное» присловье (вариант: «Другой бы с горя удавился») они сохранили, а для рифмы вместо невразумительного с их точки зрения «как Горин» присочинили довольно удачно: «А мне с пол-горя».

Но пока оторвемся от девушки с папирисой, чтобы вспомнить одну некурящую этнографичку, мою однокурсницу. Я знал ее уже несколько лет, но влюбился только после ее рассказов о раскопках, о пустыне, о том, как прекрасно на ночь вынести раскладушку из палатки на такыр и перед тем, как уснуть, глядеть из спального мешка на звезды. Однажды она громко восхитилась: «Смотрите, какие косматые звезды!», чем привела в восторг остальных любителей спать на такыре. (Я не решился спросить у нее, что такое такыр, но полагал, будто это нечто великолепное). А ее, бедняжку, по вечерам донимали восторженными возгласами: «Что за прелесть эти лохматые звезды!» Признаться ей в любви прямым текстом я не посмел, а вместо этого посвящал ей веселые сонеты, которые, правда, становились все грустней. Но в экспедиции все влюблялись не в тех, кто их полюбил бы, а это в молодости благотворно влияет на творчество, как поэтическое, так и научное. Зато я признавался ей в своей симпатии к каждому из «хорезмийцев», с какими постепенно знакомился.

Хорезмийцы постепенно приняли меня в свою среду. Остановка была только за Шефом: примет он меня или нет? Он уже заметил меня, когда я слушал его лекции в полумраке актового зала истфака, куда я приходил вольнослушателем, слышал обо мне от хорезмийцев, в том числе и от своей дочери Лады, учившейся курсом старше меня. Лада любила поэзию, я даже читал ей мои сонеты. Она очень скоро поняла, что в конце концов я стану не археологом, а писателем. На мой день рождения она как-то подарила мне академический десятитомник Пушкина и знаменитой цитатой предсказала мне в своей надписи на первом томе фантастическое будущее – «могучий поздний возраст, когда перерастешь моих знакомцев...»

Толстов, естественно, решил, что я хочу на раскопки в Хорезм, чтобы написать о них, как тогда выражались, «в романтическом ключе», т.е. взволнованно, но неточно, домысливая, приукрашая и преувеличивая. Как раз тогда, после находки на Топрак-кале древнехорезмийских документов, известный очеркист Рудольф Бершадский опубликовал восторженный очерк о том, как нашли эти документы. Очерк обстоятельный, разбитый на главы с названиями в том же «романтическом ключе». Одна называлась, например, «Когда у археолога начинают дрожать руки». «Когда он сильно выпьет», – иронизировали неблагодарные хорезмийцы, добавляя, что в таком виде у него хватит совести не пойти на раскопки. Впрочем, это представление об археологах присуще многим. «Какое чувство вы испытываете, держа в руках древний черепок?» – интересовались мои знакомые, ожидая услышать от меня то, что обычно пишут об археологах поэты и журналисты. «То же самое, – отвечал я, – какое испытывает портной при виде пуговицы». На этом расспросы прекращались, как будто все знали, что чувствует портной при виде пуговицы и не видели в этом ничего интересного. Секция очерка Союза писателей пригласила хорезмийцев и самого Толстова на обсуждение очерка Бершадского в обшитый деревом особняк на улице Воровского. Позвали и меня, хотя я еще не был в Хорезме. Сергей Павлович с интересом смотрел на меня. Чью сторону я займу? Писателей или археологов? Сам Толстов говорил очень мягко, но его молодые сотрудники всячески отбивались от журналистской романтики. Очеркистам это не понравилось. Только и слышалось: «Очеркист имеет право на домысел! Он имеет право на свое видение мира». Сторон-

ников «пресловутой точности» обвинили еще и в натурализме, а заодно в пренебрежении к читателям, желающим чтобы было красиво. Дошла очередь и до меня. Я вынул крупноформатный сиреневый том толстовского «Древнего Хорезма» и заявил, что реальность интереснее того, что в нее добавляют для интереса, и что точность не враг, а, наоборот, спутница красоты. И в доказательство прочитал отрывок из книги Сергея Павловича: «Наш маленький караван прошел между мощными пилонами ворот, внутрь прохода которых тоже глядели настороженным взглядом темные щели бойниц, – вышел на гулкую площадку двора. Такыр двора, растрескавшийся многогранниками, в щелях между которыми зеленели ростки пустынной растительности, казался вымощенным булыжником. Я поднялся по песчаному откосу на стену и пошел узким коридором стрелковой галереи, спугнув по дороге нашедшую здесь убежище степную лисицу»¹.

Мой голос дрожал от волнения. Скоро я войду на такую же крепость. Писатели со скужающим видом слушали меня. Ну, погодите, сейчас вы ахнете. И я продолжал чтение: «Малиновое пламя заката, охватившее западную половину горизонта, предвещало разразившуюся на следующий день песчаную бурю. И там, на западе, за тяжелой грядой пройденных нами песков, в багровое море зари врезались черные силуэты бесчисленных башен, домов, замков. Казалось, это силуэт большого многолюдного города, тянущегося далеко на север, где темнеет абрис хребтов Султан-Уиздага, замыкающий с севера горизонт. Но мертвая тишина пустыни, предгрозовое молчание песков окружали меня. Этот созданный некогда трудом человека мир был мертв. Замки и крепости, города и жилища стали достоянием воронов, ящериц и змей»². Эта потрясающая картина не произвела на писателей ни малейшего впечатления. Вот если бы от всего этого у исследователя затряслись руки и подкосились ноги, если бы он зарыдал или, наоборот, запел бы победную песнь, тогда было бы в самый раз.

Мои товарищи сияли, вспоминая уже пережитые ими впечатления, но Сергей Павлович как-то настороженно посмотрел на меня. Видимо, он решил, что перевернуть и приукрашивать я не буду, но зато буду искать приключений. Я уже писал в своей первой книге о наших раскопках, как Толстов принимал меня в экспедицию: «Если вы едете в Хорезм ради приключений, то смею вас разочаровать – приключений не будет. Приключения бывают только при плохой организации дела, – тут Толстов вдруг рассердился и стукнул кулаком по столу, – а если и бывают, то это уже не приключения, а безобразия!».

Я очень не скоро стал писать о раскопках в Хорезме, о нашей экспедиции, только лет через десять после этого разговора. Я поклялся, что буду точен до последней мелочи. Пусть писатели убедятся, что жизнь захватывающе интересна без всяких домислов, преувеличений и даже приключений. Книге я дал разочаровывающее читателя название – «Приключений не будет»³. Я писал ее по своему дневнику, моим научным консультантом была Татьяна Александровна Жданко, заместитель Толстова. Более того, каждому хорезмийцу, о котором я писал, я показал посвященные ему страницы и строки, чтобы он мог их исправить. Книга вышла, и я подарил ее Толстову. Писатели нашли, что она неплохо написана, но моей точности не оценили. «Здорово ты придумал фамилию начальницы, – удовлетворенно произнес Павел Нилин, – Не-ра-зик... сам придумал или откуда-то взял?». С Толстовым было еще сложнее. «Иди к шефу! – сказал кто-то из хорезмийцев. – У него на столе твоя книжка, и он в ярости».

Вхожу в кабинет. Толстов что-то пробурчал вместо приветствия и сразу же: «Что вы, черт побери, пишете о сотрудниках экспедиции? В каком свете вы их выставляете? Выходит, мы берем на раскопки черт знает кого!» Я робко заикнулся насчет того, что все выверил, с каждым, про кого пишу, поговорил. «Я имею в виду то, что вы пишете про самого себя, – уточнил Толстов и, называя номера страниц, возмущался: – «Что это значит? "Я не знал", "Я забыл", "Я не понял"! Вы делаете вид, будто не понимаете, как плавляли железо в сыродутном горне, который вы рас-

чистили!» Я сразу успокоился: «Сергей Павлович, а представьте себе, что я написал: "я точно знал", "я прекрасно помнил", "я сразу догадался". Читателю нравится чувствовать себя умнее автора. Это такой литературный прием». «Так бы и написали, – примирительным тоном сказал Толстов. – Это, мол, литературный прием». Тут я несколько пересмотрел свое отношение к давнему очерку Бершадского. Хоть свой собственный драгоценный образ, а исказишь, чтобы расположить читателя!

Но до всего этого было далеко. В Чарджоу мы сошли с поезда, пожили под сводом виноградника в каракалпакском постпредстве, потом пересели на машины и отпировались на север вдоль тогда еще огромной и стремительной Амударьи, которая по ночам редела, как тигр, за камышами возле наших стоянок. А там – переправа через Аму, уже после того, как увидели пески и крепости, и каравансаи левобережья, потом Нукус, степь, горы Салтан-Уиз-дага, глинобитная сторожевая башня, крепость Кзыл-кала, а за нею, уже в лунном свете, – вереница палаток и громада северо-западной башни Топрак-калы. Наскоро поужинали, обменялись новостями с сотрудниками, приехавшими раньше нас и уже разбившими лагерь, и – бегом во дворец. Черные ниши раскопанных сводчатых помещений. А там – залитая луной центральная площадка дворца. Мне показывают зал за залом, гаремный комплекс, приводят на каждую из трех башен. «А вот у нас в Новгороде», – вспоминаю я. Но Костя Гарновский обрывает меня: «Кто не забудет свою первую любовь, тот не узнает последней!».

Режим, прямо скажем, не курортный. Подъем в пять утра. Первые шесть часов – работа. Четырехчасовой перерыв, можно отоспаться после ночных костров, песен под аккордеон, тоев и задушевных бесед. Культурная полоса недалеко. Ездим за водой к арыку, а заодно купаемся там. И после чая – еще четыре часа предвечерней работы. В воскресенье работаем шесть часов, – вечер свободный.

Как приятно работать, пока не наступила жара. Привыкаю к другому методу раскопок. Никаких кольшков, никаких квадратов для удобства фиксации находок. Нужно научиться виртуозно работать кистью, ножом, скальпелем, совком, не говоря о лопатах, кирках-кетнях. По обычаю новичка делают «рабом» кого-нибудь из опытных раскопщиков. Я «раб» у строгой Милицы Георгиевны Воробьевой. Вот найденный в прошлом году уголок, стык двух стен со следами росписи. Уголок низенький, пока еще даже голову, – а копать приходится полулежа, – не спрячешь в тень. Но меня, как и других новичков, сначала отправляют на восточную сторону дворца, в так называемую кирпичную академию. Сдираем ножами корочку натексов и начинаем резкими движениями мести глину в поисках швов между кирпичами. Нужно выявить кирпичную кладку. Кирпичи необожженные, сырцовые, огромные, сорок на сорок сантиметров.

«Кирпичную академию» я окончил чуть ли не с отличием: вот они, лежат, как серые подушки с полосами раствора между ними. И я отправляюсь «в рабство» к Милице Георгиевне (она уже расширила угол, продлив ту и другую сторону). Нужно искать очень осторожно. Можно, как говорят хорезмийцы, «зарубать», а это позор, граничащий с вандализмом. Никакой лопаты, пока не появился отвал после ножа и кисточки, никакого лома, никакой кирки. В завале, а он глиняный, могут оказаться сползшие со стен вместе с глиняной обмазкой росписи, которые мы не совсем точно в обычном разговоре называем фресками, могут появиться под скальпелем обломок статуи или рельефа, возможно, декоративные (тоже из глины), ниши, вымостки. Милица Георгиевна, отдает в полное мое распоряжение южную стену, а себе берет восточную. Мы лежим калачиками, повернувшись каждый к своей стенке и, сами того не замечая, напеваем: «Наш уголок нам никогда не тесен». И у Милицы Георгиевны, и у меня появляются сначала в завале белые ниточки гипсовой подгрунтовки под роспись. Находим лицевую сторону. Орнамент: черные и белые цветы и завитки на красном фоне. «Наш уголок мы уберем цветами», – на радостях распеваем мы уже в полный голос, наслаждаясь росписью и тенью, которую мы уже успели создать.

И вдруг сверху раздается характерно: «Кхх-кхх-кхх». Так может смеяться только Шеф. Он стоит над нами в белом френче, белых брюках, заправленных в сапоги, на голове у него пробковый шлем колонизатора, в руке сверкает огромный ампутационный нож, с помощью которого Сергей Павлович проверяет, как идут дела у раскопщиков, стенка ли это, не появилась ли дверь. «Что-то плодово-ягодно-овощное!» – одобряет от нас. «Сергей Павлович! – неожиданно произносит моя ”рабовладелица” – Двум медведям тесно в одной берлоге. Оставим этот раскоп Вале, а мне подберите что-нибудь еще». Мое «рабство» кончилось!

Комната № 263, югу от Зала царей, мой самый первый раскоп в Хорезме. Одно из самых прекрасных воспоминаний в моей жизни. Нашел я три двери, и нишу, и все четыре стены, нашел даже череп прямо в отвале. Кто-то по зороастрийскому обычаю, который запрещает осквернять человеческим прахом землю, видимо, похоронил его здесь, на развалинах, после того как дворец опустел. С ним связана смешная история. В 11 часов, когда Сергей Павлович (мы это точно знаем) сидит и что-то пишет в своей палатке, мы ненадолго бросаем раскоп, поручив рабочим отбрасывать отвал, и все собираемся в глубоком, с хорошей тенью раскопе Лены Неразик. В своих пыльных ватниках и куртках, в брезентовых, засученных до величины ботинок, сапогах, в белых, а сейчас коричнево-серых от пыли «медицинских» шапочках, с ножами в руках мы сами себе напоминаем уголовников. Тут же сочиняем однодневки, которые зовем блажными песнями:

С топрачного донжона
Бежали три пижона,
Бежали три пижона просто так.
Один был в телогрейке,
Другой был в тибетейке,
А третий, извиняюсь, лишь в очках.
И в Ленкиной малине они остановились...

Так называли в 11 часов дня раскоп Елены Неразик. Возникали арбуз или дыня, Оля Вишневская, самая быстрая, точная и справедливая резчица, улыбаясь, делит арбуз на всех. Мы ели и выясняли, кто из нас за что сидит. Геннадия Маркова почему-то назначили пароходным шулером, Рюрик Садоков сел за кражу рояля и т.д. Что же касается меня, то я был единственным несправедливо осужденным. Посадили за то, что у меня в комнате нашли череп.

Арбуз и дыни к нам привозили из культурной полосы старики на осликах и раскладывали свой товар прямо перед башней. Аксакалы могли заломить любую цену, но Володя Лоховиц почему-то ухитрился купить дыню или арбуз в два или три раза дешевле, чем мы все. Потом он раскрыл свою хитрость. Один из старичков был жадиной. Володя совал ему трешку, брал арбуз, тот хватал деньги и называл цену – восемь рублей. «Отдай трешку назад!» – требовал Володя. Отдать деньги старик не мог и он с проклятьями уступал Лоховцу покупке.

И я снова возвращаюсь к себе в комнату № 263. О боже, голубая краска! Единственная краска, которая тускнеет от соприкосновения с воздухом. Зову нашего художника Игоря Витальевича Савицкого, тот находит нужный оттенок и фиксирует его на бумаге. Я потихоньку оконтуриваю кусок штукатурки с росписью вместе с частью завала для прочности, пропитываю роспись бесцветным поливинилом, чтобы закрепить чешуйки краски, густо поливаю клеем БФ края монолита с росписью, окружаю их марлей, которую снова пропитываю клеем.

Кто-то из раскопщиков возникает надо мной и импровизирует:

Не убоявшись Шефа,
Я дал тебе Безфа.

Я тут же подхватываю:

Я дал тебе двуручную пилу.

И мы вопим уже оба:

А ты мне изменила,
Другого полюбила,
Отдай мне пузырек поливинила.

Пилой я подпиливаю монолит снизу. Особый шик у раскопщиков – подготовить роспись к эвакуации, подсунуть под монолит железный лист, точно ткнуть ломом с угла, и вот монолит, невредимый, уже на листе. Люди в докторских шапочках торжественно волокут его из дворца в реставрационную палатку. Остальные росписи закрывают брезентом, придавленным комьями глины, чтобы не выцвели, чтоб их не повредили. А если со стороны гор покажется туча или столбы смерча, то на Топрак тащат весь брезент, какой только окажется в лагере. Наш повар Костя Князев, которого изгнали за пьянство из ресторана «Астория», горестно заикается: «Оппять из кухни брезентик спперли. Ннну как жить с тттаккой интеллигенцией!».

Только теперь, после работ Ю.А. Рапопорта о религии древних хорезмийцев, я понял, что в юности нашел на Топраке сказочную жар-птицу. Я сначала принял ее за гроздь винограда. Но это было розовато-голубое оперение, потом появилась орлиная голова, рядом наверхие жезла. Шеф счел ее изображением короны хорезмшаха Вазамара, строителя Топрак-калы. Болотная птица была для древних хорезмийцев символом нашего мира с его тремя сферами-стихиями – землей, водой и небом, доступными этой птице. А космос изображался как огненная птица. Млечный путь был ее телом. Все таки я нашел нечто вроде жар-птицы. Эта находка как-то подняла, возвысила мою душу, из моих рук выпло замечательное произведение искусства, созданное за 16 веков до меня. Я был каким-то не таким, вся жизнь покатила бы иначе, не появившись под моими руками ну не жар-птица, так дивной красоты орел.

Мне кажется, что наша экспедиция, окрыленная талантом и характером Толстова, дала не только прекрасных архелогов, чьи труды украсили книги, посвященные древней истории Средней Азии. Художник Савицкий, думаю, тоже приобрел здесь тот размах, который позволил ему создать сначала изумительную коллекцию украшений каракалпаков, а потом знаменитую коллекцию Нукусского музея искусств с работами художников не только Средней Азии, но и России, шедеврами, пылившимися до того на антресолях, в диванах и шкафах. Думаю, что и великими открытиями своими Юрий Валентинович Кнорозов, творец теории коллектива, прочитавший в доказательство своей теории письменность майя и протоиндийскую письменность, тоже, пусть отчасти, обязан Толстову и нашей экспедиции. И даже заместитель Толстова, архитектор Марк Орлов, который потом доставил нам немало тяжелых переживаний своим конфликтом с Шефом, проявил наш хорезмийский размах, создавая туристическую зону в Суздале. И в обновленном по проекту всеобщего любимца Димы Витухина Артеке тоже есть частица нашего хорезмийского размаха. И тот же Костя Тарновский стал великолепным историком XX века России и героически стоял на стороне исторической правды, может быть, в какой-то мере потому, что он бывший хорезмиец. Есть у меня и другие примеры и догадки на этот счет.

Главным тут была еще и свобода научной мысли, которая в дни раскопок у нас в экспедиции никем и ничем не ограничивалась. И просто свобода мысли. Вот и один из примеров. В нашей столовой мы часто засиживались за обедом и после обеда. Это была очень большая палатка. На такыре был вырыт ровик, куда мы ставили ноги, перед нами оказывался как бы подковообразный стол под клеенками. К верху подковы шел в земле ход, по которому двигался дежурный, подавая миски с едой. В голове подковы сидел Сергей Павлович и вел общую беседу. Я сидел у левого края подковы. В Хорезме я осмелел и перестал скрывать свою пышную литературную биографию, рассказывал про Чуковского и Ахматову и дерзал, подражая

Андроникову, изображать Маршака и Алексея Толстого. «Кхх-кхх!» – слышалось с вершины подковы.

Но однажды Толстов выразил свое отношение не только к роману А.Н. Толстого, но и к самому Петру Первому. Я не знаю, была ли это озорная фантазия на тему Петра, чтобы привести в движение наши мысли, или так думал сам Сергей Павлович. За обедом он прочел нам целую лекцию о Петре Великом, совершенно не похожую на то, что мы до того слышали и читали. Оказывается, Петр под видом революции заморозил Русь. Она могла развиваться своим самобытным путем. У российского третьего сословия была даже своя вооруженная сила – войско стрельцов. Третье сословие было необыкновенно активно, дерзко, оно могло ради развития экономики освободить крестьян. Но Петр мастерски продлил крепостное право. Он утолил аппетиты деятелей третьего сословия, дав фабрикантам посессионных крестьян и тем самым сделал их крепостными. Другим он дал титулы, всем – обновление на западный образец, оставив их крепостниками, что замедлило развитие России. Он небывало укрепил российский бюрократизм, создав табель о рангах. Теперь предприимчивые люди из низов, оставаясь бюрократами и ретроgrадами, могли делать себе карьеру, утолять честолюбие, двигаясь по лестнице чинов, которая на одной ступени приносила им личное дворянство, на другой потомственное. «Петр заморозил Россию под видом обновления, – вновь повторял Сергей Павлович. – Он сделал все, чтобы продлить крепостное право еще на полтора столетия, а наш родимый бюрократизм – до сего дня».

– Но ведь какой был полководец! – вступился я.

– Тоже мне полководец, – усмехнулся Толстов. – Разбить шведа под Полтавой немудрено, а ты вот разбей его под Стокгольмом или для начала под Нарвой! А его Прутский поход? Более бездарной операции нельзя было придумать! И загремел бы со своей армией в турецкий плен, если б Шафиров не подкупил турок, чтобы они его выпустили.

Сказал и поднялся, давая нам возможность самим подумать и поспорить.

Мы знали, что Толстов писал, а может потихоньку и пишет, стихи. Лишь после его похорон, на поминках, Отто Николаевич Бадер сказал, что у него есть стихи Толстова и что стихи эти хороши. Но я так и не прочел их. А в экспедиции, сколько мы Шефа ни подначивали, но он читал Бальмонта, Блока, А.К. Толстого, своего обожаемого Гумилева, но до собственных стихов дело не доходило. Кто-то из хорезмийцев нашел в журнале 20-х годов четверостишие, подписанное неким С. Толстовым:

Вот корова. Целый год
Все траву она жует.
Из травы ведь нелегко
Изготовить молоко.

Мы долго донимали Толстова этими стихами, пока он не рассмеялся: – А что? Разве плохо? Незабываемые строки!

Мне там же, на Топрাকে, он сказал: «Вы любите читать Пушкина и интересно говорите о нем. Но почему вы совсем не говорите о его балладах, песнях и вообще сюжетных стихах? Тут возможны открытия».

Я вспомнил эти слова, когда обнаружил среди фольклорных записей Пушкина два произведения в народном духе, которые, используя пушкинский термин, смастерил он сам. А еще Толстов любил, чтобы стихи и особенно песни сочинялись здесь, при нем. Тут тоже царил полная свобода творчества, что позволило мне на музыку Рюрика сочинить, например, застольную песню, в которой я призывал бороться с алкоголем путем уничтожения оногo, «чтобы трезвой оставалась только глупая луна», но ей недолго пришлось терпеть одиночество, ибо мои романтические, а может и раблезианские бражники очень скоро обнаружили, что и другая луна «тоже лезет в вышину», и искренне радовались, что «хорошо им там вдвоем».

А однажды Рюрик извлек из своего аккордеона необыкновенно грустную и красивую мелодию. Нужно было сочинить грустную песню. В воскресенье мы все поехали на экскурсию на Аяз-калу. Это были три крепости: одна – у подножия отрога Султан-Уиз-дага, другая – на черной горе, а третья, самая древняя, со стреловидными бойницами, – на зеленом волнистом обрыве. Описывать Аяз-калу не берусь, но это самое красивое место из всех, какие я видел на земле, самое сказочное. А Рапопорт с Рюриком остались делать грустную песню. Грусть тогда не поощрялась, даже если это была песня о погибших на войне.

Рапопорт подошел к задаче научно. Песня должна при всей ее экзотичности оставаться советской, вернее, нести в себе какую-то существенную черту советской песни. Размышляя об этом, Юрий Александрович пришел к интересному выводу. Советская песня славит себя и поет о самой себе – не каждая, но очень часто. Даже песни о Сталине в сущности прославляют песню, которую в отличие от ее героя «не удержат посты и границы», а так же «ничьи рубежи». Песня служит порукой, т.е. ручается в том, что три танкиста действительно разбили «всех врагов в атаке огневой». И вообще, «песня строить и жить помогает» и именно она, оказывается, «нас зовет и ведет». Песня царит во всех стихиях: «а ну-ка песню нам пропой, веселый ветер», «над волнами вместе с нами птица-песня держит путь», «ну как не запеть в молодежной стране». А раньше «много песен над Волгой звенело, да напев был у песен не тот, раньше песня тоску нашу пела, а теперь нашу радость поет». А тут нужно петь именно тоску, грусть. И авторы решили по всем правилам воспеть не только наш Топрак, но и песню, которую они создавали.

Какова же была наша радость, когда, вернувшись в Аяз-калы, мы услышали грустную песню. Мы тут же усвоили ее, пели полночи и, встречаясь, поем ее до сих пор. Толстов очень ее любил. Она была близка эпиграфу к его «Древнему Хорезму», взятому из Афзалия-ад-Дина Хагани. Переводчик не указан, но еще со студенческой поры во мне живет пока ничем не обоснованное предположение, что перевел эти стихи сам Толстов. А если и не он, то строки Хагани, наверное, близки поэзии Сергея Павловича:

Балконы рухнули, отпыхали балки.
Здесь был когда-то пол, здесь – круглый потолок.
Не удивляйся! Там, где соловьи гремели,
Одна сова кричит плачевный свой упрек.

Я мог бы еще очень многое рассказать о Толстове, о хорезмийцах, но пока оборву поток воспоминаний на грустной песне, которая воспевает не только нас, археологию, Топрак, но и себя:

Заливает мертвые руины
Бледным светом грустная луна.
Спят вокруг безлюдные равнины.
Тихой грустью эта ночь полна.
Улетайте, звуки песни,
В эту дремлющую даль.
Уносите, звуки песни,
Вы с собой мою печаль.
Здесь когда-то город многолюдный
Восхищал гостей красой своей.
Во дворце порою арфы струны
Звучно пели в тишине ночей.
Песни звонкие умолкли.
Лишь сова кричит во мгле.
От былого лишь обломки
В старой выжженной земле.

На этом сходство с Хагани кончается, но мы поем дальше:

Там внизу звучит веселый говор,
Бодрой песни звук и смех друзей.
Но сегодня этот мертвый город
Мил мне мрачной прелестью своей.
Завтра я про грусть забуду
В зное пламенного дня.
Но всегда со мною будет
Песня грустная моя.

Так оно у нас и вышло!

Примечания

¹ Толстов С. П. Древний Хорезм. М., 1948. С. 27.

² Там же. С. 27–28.

³ Берестов В. Д. Приключений не будет. М., 1962.

BOSS (a chapter from a book of memoirs)

The author shares his memories about S.P. Tolstov, an organizer and a head of the Khorezm expedition. As an outstanding scientist, talented teacher and a rather extraordinary person, Tolstov was an acknowledged mentor for his junior colleges and students. It was Tolstov, who introduced into the work of the Khorezm expedition many perspective ideas, the spirit of a «common deal», cooperation and interpersonal friend relations. The article is written in a fiction style. A specific «expedition folklore» of students, who worked in the Khorezm expedition, is presented.

V.D. Berestov

© 1997 г., ЭО, № 1

Т.А. Жданко

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ЭТНОГРАФЫ ХОРЕЗМСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ*

В 1945 г. Хорезмская археологическая экспедиция Московского отделения Института истории материальной культуры АН СССР, с 1937 г. возглавлявшаяся С.П. Толстовым, возобновила свои исследования, прерванные войной. При этом она получила новый статус Хорезмской археолого-этнографической экспедиции Института этнографии АН СССР.

Решение включить в состав экспедиции этнографические отряды соответствовало научным интересам ее организатора и руководителя: С.П. Толстов был в такой же степени этнографом, как и археологом¹. Убежденный приверженец традиций школы замечательного русского ученого Д.Н. Анучина, его принципов историзма в этнографической науке и комплексного метода исследования, сочетающего данные археологии, этнографии и антропологии, Толстов считал «анучинскую триаду» основой научного анализа исторических проблем². В своей научной деятельности, в трудах,

* Данная работа выполнена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда: проект 95-06-17606, код 01160.